

Ab ovo

Ю. Лексин

(Журнал «Знание-Сила», №11, 1983, с.32—35)

К Огурчинскому мы подошли в полной темноте и все же решились беспокоить маячника — слишком тесно было ночевать на маленьком «Профессоре Гладкове», да и не терпелось узнать об острове хоть что-то из первых уст. Маячник Иван Андреевич с супругой Верой Васильевной жили на Огурчинском вот уже семнадцать лет, так что могли порассказать о нем.

Иван Андреевич и встретил нас, появившись откуда-то из влажной теплой ночи, когда мы вылезали из шлюпки. Не спал, оказывается. Хрустел под ногами песок с ракушечником, вспыхивал и гас маяк, накат шумел, луна выныривала из туч какая-то надуманно огромная, холодная, и все эти звуки, весь вид этот заливал со всех сторон пронизывающий треск кузнечиков.

Попали наконец на остров. Долго не могли попасть, все ждали оказию в Красноводске, уже надоело рассматривать остров на карте — тонкий, брошенный в море точно по меридиану, длиною тридцать восемь километров. И вот он теперь — под ногами, живой. И где-то в глубине его — наши хохотуны. Спят, наверное, ни о чем не подозревают.

— А не стесним мы вас, Иван Андреич?

«Чего там», — возмущается он с откровенностью островитянина и все пытается отобрать у нас что-нибудь из груза.— Приехали, и хорошо. Не сплю я почти. Часа два за ночь, и все. Вначале даже боялся: что, думаю, за черт, не спится! А потом привык. Организм, значит, такой. Не хочет уже спать.

Один из наших спальников он все же вытянул из шлюпки. Теперь шел впереди, мы за ним — среднеазиатская орнитологическая экспедиция Института эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР, а именно: кандидаты биологических наук Евгений Николаевич Панов, Лариса Юрьевна Зыкова и мы двое — корреспонденты.

Волшебный открывался остров в ночном разговоре. Иван Андреевич без затей утверждал, что всего на нем «навалом». Ослов диких навалом, чаек серебристых — пруд пруди. Змеи? Есть и змеи. И ящерицы есть, и хохотунов чертова уйма. «А сколько все-таки?» — въедливо спрашивал Панов. «Да гнезд пятьсот. Навалом их».

Тут что-то не сходилось, видел я. Панов все больше стал помалкивать. Хохотунов он с Ларисой Юрьевной наблюдал два сезона в проливе на Карабогазе, но пролив перекрыли, и птицы тут же исчезли. Вернее, они даже прилетали, хотели загнеститься, но, увидев случившееся, пометались над изуродованным местом и унеслись. Лишь одна чайка, говорят, села на гнездо в опустевшем краю. Куда делись остальные, никто не знал. Вид, можно сказать, почти не описанный, никогда толком не наблюдавшийся, да к тому же вообще редкий в мире и внесенный в Красную книгу, был сорван с места и в этих краях исчез. И вдруг — известие из Красноводского заповедника: хохотуны на Огурчинском. И не просто слух, Видели их тут в прошлом году. Но чтобы в таком количестве — сомнительно. И все-таки они есть. Уже хорошо. Мы их разыщем. Тем более и место известно: километрах в девяти от маяка. Но пустяки все это! Остров-то все еще казался нам тем маленьким пятнышком в море, каким был на карте. Найдем!

Не таким он оказался. Все утро мы шли на судне вдоль восточного берега Огурчинского. Наконец, решив, что девять километров от маяка пройдено, встали на якорь. Безлюдный остров лежал теперь перед нами, бесконечно вытянувшись в обе стороны. Весна тронула его зеленью, но все равно он смотрелся безжизненным, лишь серебристые чайки иногда прилетали к нам, высматривая рыбу. Никаких признаков хохотунов не было. Наверняка они сидели на гнездах, а за кормом могли летать и к противоположному берегу, не видному нам. Между тем надо было не просто отыскать их колонию, а еще и удобное место для лагеря, чтобы было оно недалеко от птиц, но и не в тревожной близости с ними, да еще высаживаться, перевезти в единственной моторке груды вещей, устроиться до темноты, судно отпустить... В общем, как и бывает всегда, предприятие становилось не таким простым, каким выглядело при сборах в Москве, когда видишь единственное идеальное сочетание: вот мы, а вот хохотуны. А главное, черт подери, так оно и есть на самом деле — мы и хохотуны, так наверняка будет. Но вот, поди ж ты, мы есть, а их нет!

Третий час по песчаным холмам острова бродят, изнемогая от жары, Панов, Лариса Юрьевна и директор Красноводского заповедника кандидат биологических наук Владислав Иванович Васильев. Он-то уж совсем из любви к искусству. Но, кажется, это и впрямь любовь. Его огромную фигуру я чаще всего и вижу в бинокль с судна. Васильев вышагивает по пескам, с силой выбрасывая костыли чуть ли не

на метр. У него нет одной ноги, и это специальные «песчаные» костыли — внизу на них продолговатые набойки, так что концы вроде бы должны меньше увязать в песке под тяжестью тела. Но надо видеть это тело — человека двухметрового роста, к тому же необычайной силы: никто, кстати, ни в какую волну не имеет права подать ему руку, когда он садится в шлюпку или пересаживается из нее на судно. Даже за глаза одноногим его никогда не зовут, только хромым, будто и впрямь это так. Васильев костылями и подаст нам знак, если они найдут птиц. А пока надо готовить все к выгрузке: бочки и бидоны с водой — на острове нет своей пресной, палатки, ящики, продукты на два месяца...

— «Нашли!», — кричат с кормы.

Сошлись-таки! Мы и хохотуны: огромные, говорил Панов, черноголовые птицы, диковинные, как птеродактили. Один размах крыльев чуть ли не полтора метра и клюв со школьный пенал. Увидеть бы!

На первое свидание с хохотунами Панов уходит чуть ли не тайно. Суетился все время рядом, а тут вдруг раз — и пропал. Меня, во всяком случае, не пожелал взять. Появление в колонии человека, особенно когда птицы только что сели на гнезда, легко может обернуться трагедией: бросят все — яйца, гнезда и, испуганные, уйдут неизвестно куда. Так что нечего и говорить о лишнем человеке.

Лишний там, в птичьей колонии, я работаю в лагере. Дел тут, как бы сказал наш добрый Иван Андреевич, навалом. А все-таки нет-нет, гляжу я в сторону противоположного берега: там, в километре от нашего лагеря, кричат, ввинчиваются в небо птицы, вспугнутые с гнезд. Значит, ходит там Панов.

Я собираю по берегу топляк. Досок надо много: лагерь хочется сделать удобным и прочным, ветры здесь нехорошие, часто ураганные, после Бискайского залива Каспий — самый шумный, пятьдесят два дня только тихие в году, и если снесет палатки, то сломается и вся работа. Экспедиция же собирается жить тут месяца полтора, так что ветры будут. И все должно быть надежно и целесообразно.

Вот оно слово, за которое я мог зацепиться — целесообразность. Классическая этология возникла в тридцатых годах. И тут же начала обрастать мясом наблюдений. А изюмина, по словам Панова, заключалась вот в чем: до этого ученые работали с физиологией животных, морфологией и вдруг увидели, что есть еще и поведение. Так появилось совершенно новое поле и на нем можно было увидеть ту же самую классическую целесообразность.

существования живого. Целесообразность стали искать настойчиво и изошренно, с пылкостью первооткрывателей и, естественно, нашли. Изящно поставленные полевые опыты, множество их — особенно с чайками, моевками — вынули эту целесообразность всего происходящего с животными еще раз на самый верх наблюдений. Все выстраивалось донельзя стройно. Практика ежедневных наблюдений работала прямо на теорию. Без отклонений. С поразительной точностью. И это делало теорию, казалось, неотразимой. Все происходило просто блестяще: на совершенно новом материале — поведении — увидеть все ту же биологическую целесообразность, результат действия естественного отбора. И неудивительно, что итогом было едва ли не восхищение.

Между тем тот же Дарвин писал еще и о том, что ни одно приспособление не может быть абсолютным. Каждое приспособление влечет за собой какие-то побочные эффекты, которые нельзя считать приспособительными. («В сущности,— говорит Панов,— идея такая: мы говорим «нет худа без добра», а его мысль можно переложить и так: «нет добра без худа»). Тут же оказалось, что все объяснено уже задним числом. Ситуация в науке, если она затягивается надолго, довольно абсурдная. («Целесообразно все сущее. Остается лишь таскать иллюстрации в одну и ту же книгу — давно написанную, подбирать их к одному и тому же принципу, уже сформулированному: естественный отбор приводит к абсолютной адаптивности. И не шевелись»). Любая деталь поведения могла быть объяснена. Человеческой изошренности мышления вполне хватало на это объяснение. Хватает и сейчас. И вот, в противовес — едва ли добродушная ирония одного из современных генетиков. Эпиграфом к своей статье он взял слова из Вольтера. Доктор Панглос говорит: на одном острове произошло извержение вулкана, погибло триста тысяч человек. Те, кто был там, должны были погибнуть, те, кого не было, не должны. Видите, как хорошо все устроено на Земле, как все строго, ясно и целесообразно!

...Хохотуны на той стороне все мечутся в небе. У них тоже вроде должно быть все целесообразно.

— Это было еще в Карабогазском проливе. Мы сели тогда, несколько лет назад,— говорил Панов,— и увидели, что они убивают своих птенцов. Кто увидел первым, ты, Ляль?

Складывается сложность со сложностью. Что из этого сложения может выйти объективного? А выйти-то все равно надо в какую-то простоту. И как они вообще

выбираются в нее?

Впрочем, сейчас мы с Пановым выходим на довольно объясненный участок. Итак, систему гнездования хохотунов они нашли порочной. —А ее считали хорошей, — внушает он. — Соответственно концепции целесообразности в ней отыскивали все возможные достоинства. А именно: они не убивают птенцов, сами птенцы их окрашены не маскировочно, как у серебристых чаек — у тех птенцы серенькие, пятнистые, у хохотунов же откровенно заметные — белые, пушистые. А если птенцы заметны, значит, для колонии почему-то не страшен хищник. Ведь если бы хищники преследовали их, то такой отбор привел наконец к появлению защитной окраски. Но этого не случилось. Значит, сама система надежно **защищена от хищника.**

Выходит, она в этом направлении именно и развивалась, совершенствуясь. А если так, то этой системе не нужны такие особенности поведения, какие есть, например, у серебристых чаек. Те после вылупления птенцов предусмотрительно отбрасывают подальше от гнезда скорлупу яиц, чтобы та не привлекала хищника. Хохотунам не нужно ее выкидывать. Хищник и так не пойдет к ним. И вообще, гнездо не надо прятать. Даже испражняться можно прямо на борт гнезда (у серебристых гнездо чистое, у хохотунов — все в помете). Колония заметна, и ее не надо скрывать. Вся защита в том, что птиц много. Сама коллективность уже защищает их. То есть вся система выстроена очень хорошо. И вроде бы разными путями по сравнению с серебристыми чайками, но результат достигнут один и тот же: система процветает. Все в этой логической конструкции точно укладывается в пользу их типа гнездования, все в ней лишь хорошо или очень хорошо. Одно неясно: насколько все это реально в жизни?

- Но ведь и убийства их тоже можно объяснить...

Элементарно, — подхватывает Панов.— Положим, это просто авторегуляция численности популяции. Корма хватит, вырастут все, не хватит — одного не будут кормить. Или, как у серебристых чаек, просто съедят его в трудную минуту. Серебристые едят. Не обязательно своих, но своего вида.— Или еще объяснение: теория родственного отбора. По ней надо убивать чужих, чтобы увеличить в будущем долю своих генов.

Что же тогда выходит,— итожу я.— Набор объяснений целесообразности практически бесконечен. Но и ваш набор — разрушения этой целесообразности,

тоже легко может стать бесконечным. Как быть? Хорошо, вы нашли, что убивают, и объяснения классической этологии не устраивают вас. Что из этого?

— А то, что не все варианты гнездования одинаково хороши, хотя все они и реализуются, все есть в жизни. Выходит, должны быть варианты лучшие и худшие. А если так, если не все хороши, то можно выйти к проблеме вымирания. Если вариант колонии хохотунов хуже, чем вариант у серебристых чаек, значит, гипотеза должна быть такой: хохотуны вымирают, а серебристые чайки процветают. Похоже, так оно и есть. У серебристых огромный ареал и всюду очень высокая численность. Они сейчас даже в городах гнездятся по плоским крышам. В Англии, Голландии уже пытаются регулировать их численность. Не знаю, чему уж они так вредят, но яйца их собирают. То есть с ними уже борются, значит, вид процветает. Хохотунов же вообще много меньше: лишь пятна на Земле, отделенные друг от друга тысячами километров. И пятен этих всего штук семь. И все это такие вот небольшие острова вроде Огурчинского. И не навалом их тут, я уверен.

Вот они... Даже дрожь какая-то внутри от этого зрелища. Мы на последнем холме перед долиной, и они внизу как на ладони. Живая белизна их с черными пятнами голов переливается, волнуется сама собою, теснится, и так легко их схватить, напугать, уничтожить даже — такую-то беззащитность... Все на свете прячут себя. Умело ли, плохо, а все равно прячут. И всех человек находит, настигает по какому-то придуманному им праву изучать. Не один ведь зверь не признает этого права, ни самый крохотный даже, все хотят от него отбодаться, от этого права, отлягаться, уползти. И эти тоже хотели. Ушли сюда, на дикий остров, в пески, в долину, а нашли и их. Сейчас будем изучать. Звучит все равно как «есть будем» — по-браконьерски неряшливо, жадно, и ничего не поделаешь, потому что сначала мы их напугаем чуть ли не до смерти, и не один раз. Поэтому и не решаемся идти сразу, сидим. К праву изучать тоже надо привыкнуть.

— «Вот так всякий раз», — будто слышит меня Панов. — «Страшно идти».

— «Почему?», — спрашиваю я жестоко.

— «Ну мы ж все-таки не браконьеры... Жалко их».

Жалко ли? А когда целое лето ехал по Алтаю, кажется, и стрелял налево и направо, не жалко было? А вечерами шкурки снимал до упада, чучела делал. Вот так: убить всех, кто попадется, — «это лучший способ изучить переход одного вида птиц к другому». Теперь эта коллекция в ЗИНе, и она уникальна, Панов гордится ею. И меня скоро будет прощупывать. Все о том же, когда к колонии

будем подходить:

— «А тебе как непрофессионалу, впервые, не кажется вся эта процедура варварской?»

— «Не кажется, Женя. Я ведь за тобой иду».

— «А-а-а, вроде как не отвечаешь за это».

— «Не отвечаю. Давай только быстро, половчей все делать».

И мы, не разгибая спин, быстро, быстро: я с мешком нумерованных колышков, от гнезда к гнезду, вбить — и дальше, вбить — и дальше... А он — с красками, птенцов метит: младшему под подбородком мазнуть, среднему — лоб, большому — затылок (безобразные они потом — меченые). И тоже скорей, скорей, на четвереньках, на разгибанье времени жалко. Я — бегом. Земля твердая, бьешь по колышку молотком — все гнездо вздрагивает, яйца трясутся, птенцы в страхе глаза закатывают. «Ничего, ребята, потерпите... Сейчас уйдем!» Двух погладил, не удержался. А птицы над нами — как сумасшедшие. Орут, но не нападают на нас. И глядеть на них некогда — гнезд-то штук двести! Только вскользь вижу: из десятого гнезда старший птенец выметнулся, побежал. Панов — за ним. Хвать! — посадил на место. Тот опять выскочил. «Стой, скотина!» — гонится на четвереньках Женя. Правильно! На место его, а то потом ведь убьют как чужого, черт их поймет, почему они их лупят, а тут уж наша вина будет, чистая. Опять на место его посадил Женя, своей шапочкой накрыл — беленькая, пять колец олимпийских. Теперь не уйдет. И опять красим, колотим. Господи, еще полмешка чертовых колышков!

— «Уходим!», — кричит Женя, — «Уходим скорей! Яйца раскалятся!»
Перерыв надо им дать. Скорей же!!!

Лежим за холмом, как после бани — пар валит, пот течет. Женя трет огромный свой лоб, он у него прямо к затылку идет, через лысину. Хороший лоб.

- «Ну что, Жень? Сделали что-то».

- «А ничего не сделали!»

Ну уж зачем так! Птенцы помечены, засидку сегодня поставим вечером, можно будет смотреть, что с ними происходит, кого и как убивать будут. Два экспериментальных гнезда тоже есть: специально собрали туда по три птенца — все одного возраста. Если убивают младшего, потому что он самый слабый, то здесь не будет слабого. Кого они тогда выберут? Посмотрим. Да и сейчас уже что-то увидели. Один, вчера еще окрашенный птенец, зеленый (красили зеленой краской

вначале, потом она кончилась, стали красить красной, так что получилось две колонии — красная и зеленая), так этот, зеленый, почему-то перешел к красным. Причем уже сменил два гнезда. И жив. Не били его. А уж точно чужой. Значит, опять не все так просто: чужих, мол, бьют.

— «Почему они вообще, Жень, бродят?»

— «Голодные они. Кормить надо как следует, тогда и бродить не будут».

И это мы тоже завтра увидим. А пока смотрим мертвых. Их шесть. На бегу собрали. Все младшие, лишь один средний.

— «Наверняка голодные, вот и бродили»,— говорит Жень.— «Когда чужой уже сидит в гнезде, он не воспринимается как чужой. А когда только идет — он для всех чужак. Тут его и лупят».

Вскрываем желудки. Но два сыты были. Опять, выходит, не все так просто. И соберется ли все это в какую-то систему?

— «А как хорошо было»,— опять возвращаюсь я к тому же.— «Какая красивая теория, что все целесообразно!»

— «Не теория это!», — ворчит Панов. — «В значительной мере это просто не очень даже скрытый антропоморфизм. И вообще, я не считаю, что разрушая, надо тут же спешно создавать что-то взамен. Если заменой будет даже одно простое описание всего, что происходит,— но уж точное! — и то это много. Биология тем и сложна, что каждое событие в ней уникально. Это не значит, что не нужно искать общие закономерности, только закономерности нужны, может быть, более общие. Я вот с трудом могу понять, как вообще самка хохотуна отличает своих птенцов друг от друга. Ведь чтобы кормить и того и другого, надо как-то отличать их. По крачкам, например, у нас факты просто поразительные. Крачка даже в толпе, в невообразимой суматохе, узнает своего партнера».

— «Почему ж ты удивляешься, когда то же видишь у хохотунов?»

— «Потому что хохотун — это просто грубо устроенная электронная **схема, не больше. Я так думаю.**»

Но все же самообучающаяся. В этом ей нельзя отказать. А вот какова степень самообучаемости, мы не знаем.

— «Но если система груба, то хоть надежна?»

— «При постоянстве внешних факторов — да. Лучше всего об этом Фабр сказал. Одна глава у него называется «Мудрость инстинкта», другая — «Невежество инстинкта». Взрослая земляная оса роет норку, находит

определенного паука, парализует его, затаскивает в норку, откладывает на него яйцо, замуровывает норку и улетает. Из яйца вылупляется личинка и начинает есть паука. Если личинка сразу же отъест от него не то, что нужно, паук подохнет, начнет разлагаться, и личинка погибнет. Значит, личинка уже «знает», как ей есть паука, не убивая его. И потом, новая оса вылетает на свет, ничего не зная об окружающем мире, но опять находит паука, парализует его тем же образом, как делали до нее, — все начинается снова... И это — мудрость».

— «Где же невежество?»

— «Тут же. Фабр дежурит возле норки. Оса приносит добычу — это был кузнечик — и затаскивает его в норку только за усы. Если их оторвать, оса уже не может его затащить. А что бы стоило затащить его за переднюю лапу? Ничего! Но она просто не в состоянии сделать это».

— «И это невежество? А мы не так разве? Вот ты упустил пойманную рыбу... Есть смысл ловить другую. В этом больше «мудрости», чем уродоваться — ловить упущенную».

Панов даже не слышит меня, сосредоточенно долбит в одно:

— «То есть механизм этот — при постоянстве условий — действительно работает идеально. Школьный учитель Фабр прекрасно это понял. Но при малейшем отклонении механизм тут же дает непредсказуемые сбои. Грубая схема, машина! При постоянстве условий она и впрямь работает подобно человеку, даже более, чем целесообразно. Как кошка... изо дня в день по получасу бестолково закапывает, скребет пустую кювету. И все остальные действия их нелепы».

Тут я невпопад говорю, что у меня это вызывает лишь жалость. С ней-то как быть?

— «Никак!», — режет Панов. — «К изучению не добавлять чувств. Никаких! А у тебя — стандартная позиция любителя животных, а не изучающего».

Наверно. Но, значит, это две позиции, и они несовместны. Любопытно! Только не так все это, по тебе же видно. (Случится и для него сюрприз. Он еще впереди, я узнаю о нем через месяц. Окажется: хохотуны совершенно легко — спугнутые, в любой неразберихе могут узнавать своих птенцов, всех трех даже. Это будет самым поразительным. Ведь машина, грубая схема...)

Мы возвращаемся в лагерь, и Панов печален. «Как обычно», — говорит. —

«Идешь к ним в колонию, чтобы понять, что ничего не понимаешь. А не идти — совсем ничего не узнаешь. Вот и вся этология».

Но засидку делаем. Конечно же, неправильно. Надо бы ее еще до вылупления птенцов поставить и вдалеке, а потом потихоньку двигать изо дня в день — все ближе, ближе, чтобы птицы привыкали к ней. Но время упущено. Ставим рядом, сразу метрах в пятнадцати.

— «Придем завтра»,— мрачно говорит Панов,— «а они кинули ближние гнезда, и там холодные яйца и мертвые птенцы»...

Мы в засидке: четыре стойки, на них мешковина, в ней две дыры в сторону птиц. Панов с Ларисой Юрьевной прильнули к дырам, я — позади них, ничего не вижу, только слышу их. Они, не отрываясь от биноклей, говорят на магнитофон. Птицы быстро успокоились, уже у гнезд. Но одного забили тут же, как только мы вышли из колонии перед тем как залезть в засидку.

(Он у меня за спиной, в тени полога. Вначале пищал, сейчас притих. Жив еще или нет? Разворочена вся спина... Бьют они жестоко, рассказывал Панов. Есть чуть ли не специальные особи — убийцы. Может, потерявшие потомство, семью, гнездо? Ходят все в кровище... А то еще «пастухи»... Отбивают с десятков птенцов и пасут их. Потом совершенно неожиданно, непонятно почему, зачем вдруг начинают их избивать. Или самцы... Стоят рядом с гнездами, ждут, потом: «хватя беленького, пушистого, и проглатывают, прямо надеваются на него, и он...» Ужас какой-то! И все от тесноты в колонии, никакого иного объяснения пока нет, но и это какое-то слабое. Впрочем, рядом с такой картиной любое объяснение потускнеет. «Наложить бы,— говорил Панов,— жизнь колонии на жизнь одного гнезда, увидеть бы все. Никто никогда не делал этого». Сейчас что-то похожее и происходит. Но попробуй наложи. В бинокль видно пятнышко жизни. Это все равно, что наблюдать за одним мизинцем человека и по нему судить, кто он и как живет, и хорошо ли ему, и не жмут ли ему ботинки. Тут не поймешь даже, что у него в желудке творится, не говоря уж о голове. А у него еще и соседи есть... Но что делать?!)

«Гнездо 87... Самка загоняет птенца в гнездо». — «Но как загоняет!» — «И другая идет к нему». — «Тоже бьет». — «Это уже наша работа». — «Все — наша. А что делать?!» (Наша — потому что мы их спугнули, входя к ним, птенцы стали бродить, и вот результат. Кстати, в контрольных колониях, куда они не входили, еще на Карабогазе, смертность такая же была, как и в тех, где они были. Так что грех вмешательства в их жизнь куда сложнее, чем видится пока.)

«Птенец, которого били, так под кустом и лежит». — «Рядом, на солнце, еще один. Клюв открыт. Птица рядом. Не обращает внимания. Совсем». — «Из 27-го один разгуливает. Старший». - «В 27-м вообще одни бродяги». — «Зачем мы все это пишем?» — «Но мы не знаем, что будет дальше... Все может пригодиться». — «Надо сделать выводок из одних взрослых. Только, может, убьют. Жалко будет». — «Да не убьют». — «Вот откуда у них злаки в желудке... Это не птицы им приносят, а сами птенцы клюют подстилку».

(А наш убиенный-то ожил. Лезет под меня, пищит.)

Для меня: «Есть теория: они, мол, узнают своих птенцов на третий-четвертый день после выведения — отсюда и весь их альтруизм. То есть узнают своих». — «Ахинея все это. Не различают они совсем. Сейчас надо и набрать этот материал». — «Вот и сделать смешанное гнездо. Риск только». — «Никакого. Правда, они уже ориентируются в пространстве, будут искать свое, бродить, и вот тут...»

(Наш пищит уже как здоровый. Все-таки крепкие они. Может, и правда, как говорил Панов, погибают они в первые дня три, а потом уже умеют увертываться, да и головы крепчают. Значит, им бы только эти первые дни продержаться!)

«Временные какие-то группы образуются. Все время. Но никак их не понять». — «И никто никого не бьет, все спокойно. Как быть с нашей теорией-то?» — «С твоей». — «Не бьют, а птенцы исчезают куда-то». — «Может, серебристые их уносят? Надо проследить». — «Битых за два дня — девять. А сегодня еще не собирали». — «Да десять исчезло. Куда?» — «А того, из 87-го, стукнули всего два раза. Он довольно бодро ушел под куст. Теперь лежит, не шелохнувшись». — «Спит». — «Не хотел бы я так спать... А вообще, хорошо бы знать, как он себя чувствует. После двух-то всего ударов?»

(Наш, оживший, совсем заполз к нам в засидку. Уткнулся в телогрейку, съежился. Отдавать его им нельзя — добыют. Придется брать с собой. А как кормить? Чем? И потом все равно нести им же. В общем, еще не слава богу!)

«Из красной колонии в зеленую пришел чужой. Лезет под птицу. А там — уже трое или четверо...» — «Встала. Прогнала его. Клювом выпихнула. Идет к нам» — «Кто его убьет, интересно?» — «Но кто его гнал? Зачем он шел?» — «К нам идет, голубчик». — «Сел под кустом. Совсем рядом с нами. А ведь шел издалека. Прошел сквозь всех...»

(Все непонятно до жути, и я не могу больше слушать. Тихонько выползаю из

за сидки, беру «нашего»: в лагерь, в лагерь!)

Несчастье. Даже два. Стали пропадать из лагеря мертвые птенцы. Мы приносили их, чтобы вскрыть, но вечерами не успевали и оставляли их. И вот пропадают. Не знаем, что и думать. Ослы, верблюды, овцы здесь есть, но никого другого, хищного, не можем предположить. И все-таки он есть.

Я делаю капкан. Кто попадется в него?

Никто не попался. И ставить не пришлось. Все выясняется совершенно неожиданно: приехал в гости Иван Андреевич и говорит: это коты. Дикие. На острове когда-то был поселок и, конечно, были кошки. Люди уехали, а их бросили. Да и сам Иван Андреевич, не сумев убить, изгнал одного кота, тот шалил. Теперь им, конечно, тут прекрасно. Они стали по-настоящему ночными, их даже увидеть невозможно. Не ловить же их, то ли счастливых, то ли несчастных?! Везде все же человек прослеживается!

Но это и находка. Панов хочет сидеть ночь в засидке: надо увидеть, что происходит, когда зверь нагрянет в колонию. Как ведут себя птицы? Совершенно неожиданный случай проверить силу их коллективности. Есть ли она вообще? Только в эту ночь идти не с руки.

Утром я иду в засидку один. Без всякого магнитофона. Совсем не умея справиться с тем, что они наговаривали на него (что, может быть, когда-то пригодится — когда? как?), я иду побыть там в одиночестве. Результат, конечно, тот же: непонятно ничего! Но оттуда я прибегаю. Вокруг колонии по кустам множество убитых птенцов. Есть полусъеденные. И это не серебристые чайки натворили. Те, я уже знаю, едят не так. Но сейчас в колонии просто разгром. Вернувшись туда, мы собираем всех убитых, заклеванных, умерших — полный ящик. Младших птенцов уже, похоже, совсем нет живых. Вот они. Зачем надо было рождаться?

А еще надо окольцевать хотя бы несколько десятков птенцов. Ведь хохотунов почти еще не кольцевали. И мы кольцуем до темноты. Сорок девять штук — пустяк, конечно, но все же. Нельзя уж совсем ничего не знать о них! Панов «успокаивает» меня: «Вот так описано большинство видов наших птиц». И вечером — последний наш разговор. Как все-таки целый вид может идти по тупиковому пути?

— «Очень просто. Популяция гнездится с какой-то средней плотностью. А некоторые пары — изолированно. Их уничтожает хищник. Значит, с каждым

поколением расстояния между гнездами будут уменьшаться. До того момента, когда сблизаться уже больше невозможно — это тупиковое расстояние. Ведь параллельно идет отбор и на темперамент: кто из птиц в силах выдержать столь большую плотность, уже раздражающую. Но в такой колонии тот же самый хищник начинает поголовно уничтожать популяцию. Не говоря уж о том, что многие гибнут из-за внутривидовых отношений. Кстати, масса птиц селится с такой же высокой плотностью: пеликаны, пингвины, фламинго»...

— «Для них это тоже тупиковый путь?»

— «Для них, может, и нет. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Например, у серых цапель сами птенцы друг друга заклеывают. Положим, их шестеро: пятеро убивают одного, потом четверо — другого, и так далее. Часто в выводке остается лишь один птенец. И никакого каннибализма.

Вообще, кстати, почему птицы, живущие колониями, гнездятся на островах? Может, это один из исходных способов гнездования? То есть на островах они сохранились, а на материке вымерли. А если они вымерли на материке, то этот способ гнездования очень плохо приспособлен к защите от хищника. Вообще плохо».

- «То есть и здесь их достанут? Наш ящик убитых»...

- **«Ну это еще надо увидеть».**

Тут многое надо было увидеть.

Я застал их в начале пути и даже не огорчился своим завтрашним отъездом. Просто это совпало — случайность отъезда и неслучайность их начала узнавания. Их, похоже, и впрямь надо оставить, может, даже надолго. Складывать-то им все равно придется. Тогда и посмотрим.

Одно могу сказать достоверно: Васька наш (так мы назвали того недоубитого) — остался жить. Захотел и остался.

*Каспийское море,
остров Огурчинский*

